

Василий Брусянин

Опустошённые души



Василий Васильевич Брусянин
Опустошённые души
Серия «Опустошённые души»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9815478

Аннотация

«Студент Травин умирал... Как умирает кем-то подстреленная, но никем не подобранная с песчаной отмели чайка...

Море искрится в лучах солнца, отражая в тихих заводях синеву неба, и тихо и нежно шепчет волной прибоя... А бедная одинокая чайка лежит на раскалённом песке, смотрит в синеву неба и не может понять, что с нею... И не знает, почему ей нельзя лететь? Она видит – лёгкими, быстрыми, вольными носятся в синеве другие белые чайки, над ними плывут белые пушистые облака, до которых так хочется долететь, а она лежит, одинокая, забытая, умирающая...»

Содержание

Часть I. Студент Травин умирал...	5
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Василий Брусянин

Опустошённые души

Человек рождён не для созерцания, а для действия...
Аристотель.

*Много тоскующих, – а ещё больше нагоняющих тоску людей
в современной России...*
Плеханов.¹

¹ «О так называемых религиозных исканиях в России».

Часть I. Студент Травин умирал...

I

Студент Травин умирал... Как умирает кем-то подстреленная, но никем не подобранная с песчаной отмели чайка...

Море искрится в лучах солнца, отражая в тихих заводях синеву неба, и тихо и нежно шепчет волной прибоя... А бедная одинокая чайка лежит на раскалённом песке, смотрит в синеву неба и не может понять, что с нею... И не знает, почему ей нельзя лететь? Она видит – лёгкими, быстрыми, вольными носятся в синеве другие белые чайки, над ними плывут белые пушистые облака, до которых так хочется долететь, а она лежит, одинокая, забытая, умирающая...

Студент Травин умирал, и, когда сравнил себя с умирающей чайкой, – презрительная улыбка искривила его бледные губы, и он подумал: «Не всё ли равно!? Лучше смерть, чем это проклятое существование с опустошённой душой»...

И почему-то сощурил глаза и долго лежал так, мысленно носясь в какой-то безграничной тьме, где всё потонуло, утратило цвет, примолкло и притаилось, как будто ничего нет, как будто ничего не было... И ему нравилось быть слитым с этой тьмой и не видеть земли, света, людей... главное – людей...

Студент Травин умирал, знал об этом, но никак не мог отдать себе отчёта: когда, как и почему он подошёл к этой грани, за которой только волнующая, не пережитая, неумолимая тьма... И для чего раньше было то, что называется «жить», если всё это потонет и притаится во тьме, как будто ничего никогда не было...

В начале он не понимал, что с ним происходит: нервы вдруг точно обнажились и стали необычайно чувствительными, а силы точно подорвались, упали... Мысли носились в пламени ярких образов, а необходимая на каждый день, самая примитивная сообразительность притупилась... И он часто не уяснял себе, что делается у него перед глазами в потоке «мутной» жизни...

Странно, и жизнь он называет теперь «мутной», а ещё так недавно она представлялась ему светлым и бурным потоком... И, именно, бурным потоком... Как же ещё можно было назвать недавно пережитое славное, бодрое время?..

А недавно, в споре со студентом Загадой, он обругал это сравнение пошлой банальщиной и, нервничая, уверял, что всё пережитое – слякоть, промозглый туманный петербургский день, когда хочется уйти с улицы, опустить на окна шторы, зажечь лампу и спрятаться от этой слякоти...

– Знаешь, Загада, со мной и раньше так было!.. Прилепишься к жизни как к этакому влажному, вязкому телу и сосёшь какие-то соки, терпкие и приятные... А потом оттолкнёшься от влажного тела насыщенным и ходишь точно в хмелю... Потом проспишься, встанешь с похмелья, а голова тяжёлая, и в сердце тревога... Все дни у меня строились по одному плану: с утра до вечера туман всё больше и больше густеет, подхватывает тебя и несёт, несёт... Два часа ночи – не спишь... три – не спишь, и всё хочется ещё и ещё жить. Сутки казались короткими! А по утру, на другой день, подведёшь итоги прошлому дню и думаешь: «Ну его к чёрту, это опьянение, надо же быть и трезвым»... А к вечеру то же...

– Нервы поистрепались, – только и нашёлся сказать Загада, в сущности переживавший то же самое.

– Да-а, а в конце концов, всё это – слякоть! Помойная яма вся эта жизнь!..

Он задумался, усмехнулся, посмотрел в глаза Загады, ещё раз усмехнулся с кривой гримасой на губах и сказал:

– И вся ваша бывшая революция – слякоть!..

Загада хмурил брови и кусал ногти.

За последнее время Травин часто с каким-то непонятным цинизмом говорил о революции и называл её – «ваша революция»... А ещё недавно он говорил «наша революция». И тогда Загада понимал его, потому что у них с Травиным было нечто общее. А теперь они оба отошли от этого общего. Загада ушёл на путь какого-то тяжёлого раздумья и не знал, как оформить себя и приспособить к новой жизни... Именно – оформить, как говорил Загада сам себе... Прежний облик жизни точно стёрся или потускнел, а жить без облика нельзя...

«Если нет в душе содержания, то надо хотя бы формулу-то сохранить, – думал Загада. – Может быть, надо и формулу изменить и приспособить к новой жизни... Но надо что-нибудь сделать – иначе нельзя!»

Для Травина не стало содержания жизни, и он точно не думал о её форме. Сбили его с ног, выдавили из него содержание, и он как бабочка, раздавленная на садовой дорожке чьей-то тяжёлой ногой. Форма разрушена, в сознании ещё бродит что-то, а ему даже не больно, а только смешно и над собою и над этой грубой ногой, которая его раздавила.

«Теперь для него нет ничего связующего с жизнью, – думал о Травине Загада, – он – труп»...

Иногда ему хотелось возражать товарищу, и в нём вспыхивало острое желание сказать ему прямо в глаза это слово: «Труп!.. Труп!» Но его сдерживала жалость, и хотелось пощадить больного товарища. Можно не щадить себя в когтях новых, тягостных переживаний, но щадить Травина была его потребность.

– Ну, что, Загада, не ожидал от меня таких выводов? – спрашивал Травин.

– Да, признаться, не ожидал!..

– Ха-ха!.. Я поднял эти мысли из того же бурного потока, откуда ты всё ещё пьёшь мутную жижицу... Брось, брат, нестоящее это дело!..

После такого разговора Загада обыкновенно спешил распрощаться с озлобленным человеком и уходил, унося в душе боль и печаль.

Доктора быстро определили болезнь Травина, и, хотя ему и не говорили правды, но он знал, что от него скрывают, и в разговоре с товарищами говорил:

– Они, эти эскулапы, скрывают, а я знаю, что со мною. Ну, разве же не ясны все симптомы? У меня чахотка и самая злейшая. И скоро я того... к праотцам...

А немного помолчав, добавил:

– В сущности, какие все мы банальные люди, даже умереть оригинально не сумеем... К праотцам!.. Помнится, то же слово употреблял и мой отец, степной помещик... Он тоже умер от чахотки, значит, и мне нечего хныкать... Таков уже род Травиных... Впрочем, род этот прекращается... По крайней мере, линия моего отца... того... доползает до грани, а потом... незаметной точкой упадёт во тьму, и шабаш... Как это странно!.. Род прекращается, уничтожается фамилия!.. Ведь если я умру, из рода Травиных останется только кузина Соня. Выйдет она замуж за какого-нибудь Иванова или Петрова и, так сказать, вольёт свою кровь в какую-то чужую банку... Как жаль Соню! Её личность обречена на соединение с кем-то или с чем-то, а самой по себе её как будто и нет... Теперь много говорят о личности, а что такое личность?.. Пылинка, растёртая на жерновах общественности...

Товарищи утешали Травина и уверяли его, что с ним всего лишь хронический бронхит. А Травин пил какой-то кисловатый сироп, приготовленный кузиной Соней, и говорил:

– Я знаю, – больных надо утешать и рисовать перед ними перспективы благополучия... Верующие люди даже молебны служат. А для чего это?.. Что же вы думаете, я боюсь смерти?.. Не лучше ли бы нам заняться прогнозом и, положим, определить – через сколько

мгновений или веков из моего тела преобразуется новая полезность для человечества... Вы слышите, как я оказал: новая полезность для человечества, как будто я – какая-то уже полезность, использованная человечеством...

– Ну, Травин... скучно это!.. – нетерпеливо прерывал его Загада.

– Коля, ты сам же портишь своё настроение! – поддерживал Загаду и студент-технолог Весновский.

– Да, я знаю, – негромко продолжал Травин, – это знает только химия мира... Несомненно, я – частица вечности, как и ты, Загада, как и ты, Весновский... Все мы – частица вечности!..

Товарищи поспешно уходили от назойливо философствующего Травина. Спускаясь с лестницы, Загада говорил:

– Да-а... А Травин-то... того... «кончал башка»!.. Как говорят у нас в Башкирии...

А Травин с усмешкой смотрел на дверь, за которой скрылись товарищи, и думал:

«Здоровые, весёлые полезности человечества... Х-а-а!.. Подождите, наступит и ваша очередь»...

Мысли его как-то запутались. И почему-то ему припомнилось стихотворение Лермонтова, и он прошептал: «Ночная тьма бедой чревата»²... Тьма, именно тьма...

Голос у него был усталый, тихий, робкий. И ему часто казалось, что из его горла вынули какую-то нужную ему трубочку и вставили что-то такое новое и никуда не годное...

– Впрочем, не всё ли равно! Все песни допеты, – шептал он и часто в сумраке ночи боялся своего шёпота.

Иногда его страшный шёпот густел и грубел. И он начинал громко разговаривать сам с собою. Это случалось обыкновенно в безмолвные часы после полуночи... И когда он ловил себя на разговоре с самим собою, острый страх пронизывал его... «Ужели же я с ума схожу? – спрашивал он себя... – Умирать и не терять сознания, это красиво сильно!..» – утешал он себя...

Припадками кашля мучили Травина, и, отхаркивая слюну, он внимательно всматривался в плевальницу и всё ждал, когда появится кровь. Он ждал этого момента с каким-то странным нетерпением, точно ему скорее хотелось убедиться в неизбежности конца.

Как-то раз он увидел свою слюну окрашенной в светло-розовый тон. Приподнялся на постели, улыбнулся. Холодный пот крупными каплями выступил на его лбу... Ныл больной зуб. Он сплюнул. Опять слюна окрашена.

Он улыбнулся, но уже другой улыбкой, – улыбкой радости, улыбкой собаки, которую перестали бить, и она теперь валяется у ног своего господина, скалит зубы и по-своему улыбается.

В эту минуту Травин доволен был своим открытием. Он догадался, что кровь шла не из горла, не из лёгких, а из дёсен...

«Значит, жизнь ещё не кончена. Может быть, всё это ещё пройдёт?.. Ну, что ж, пусть так!.. Природа сама оттягивает развязку. Может быть, это и надо для чего-нибудь»...

II

За последнее время борьбы за жизнь его часто раздражала неизвестность будущего. Он не знал, когда всё *это* кончится. Он часто мечтал о красивой смерти на ногах, именно на ногах. Вот он во всеоружии стоит перед тем, что называют смертью, и ничего не боится. Это красиво ничего не бояться!.. Ещё так недавно, в дни свобод, он именно так и поступал:

² «Демон».

строил баррикады и потом без страха поджидал неприятеля и своей храбростью воодушевлял других.

А теперь, в эти дни, болезнь приковала его к постели, и он лишён и смелости, и воли... Той настоящей воли, которой он когда-то пел красивые гимны. Кто-то другой сочинил эти гимны, и Травин только повторял их, но всё же он был искренно воодушевлён ими. И он бросал на воздух чужие слова как огненные символы своей души, рождённой для свободы и воли...

Часто ему вспоминался один момент из недавно пережитых дней свобод.

Это было на Загородном проспекте... Люди двигались несметной толпой, пели, кричали, и дивные гимны свободы и победы оглашали воздух!.. Раздались выстрелы... Многие попадали: одни убитые, другие раненые... Толпа хлынула... На середине улицы образовался безлюдный четырёхугольник... Какой-то конный отряд пронёсся по мостовой: лошади и люди как звери... А люди как боги, ещё недавно певшие гимны воле и свободе, жались к домам, прятались в подъездах, в подворотнях.

Травин стоял в толпе и смотрел на мостовую. Его прикрывал собою от возможных сабельных ударов какой-то рабочий, большой широкоплечий человек... Он бранил солдат и громко ругался... И Травин помнит, что его воодушевлял своей бранью этот смелый человек. Помнит он, что ему приятно было и то, что этот человек стоит впереди его... Ему было и стыдно от этого, и приятно...

На грязной мостовой валялись зонты, трости, дамские муфты, калоши... Особенно много было калош: мужских, дамских, глубоких, мелких... Толпа заметила это странное обстоятельство... Кто-то громко сказал: «Смотрите, смотрите... сколько калош!..» Кто-то громко расхохотался, и Травин помнит, как зычно хохотал рабочий, стоявший впереди его... Страх, навешанный пронёсшейся конницей, развеялся, но зато пропало и то воодушевление, которым жила толпа за минуту перед этим.

– Что-то действительно странное совершилось, – рассказывал потом Травин знакомым. – Люди пели гимны свободы... Прогудел рожок, треснул ружейный залп, пали убитые и раненые... А на грязной мостовой валялись зонты, трости, калоши... Главное – калоши, и их много...

Толпа смеялась над калошами, а он стоял и скорбно думал.

Минуту тому назад он мог бы красиво умереть... но остался жить... И калоши, валявшиеся на мостовой, казались ему символом его судьбы... Кто-то потерял его жизнь и судьбу на грязной мостовой, и его жизнь обесценилась...

С кровавого проспекта он унёс с собою это впечатление и целый день ходил по улицам и всё искал случая красиво умереть. Ночь захватила его в шумной толпе в поисках красивой смерти... Но в эту ночь уже не стреляли, по крайней мере, этого не случилось на тех улицах и площадях, где он ходил в каком-то странном чаду, с болью и со стыдом в душе...

И это время прошло. Скорбное переживание и теперь иногда тревожит душу, но оно уже побледнело... События отодвинулись, отодвинулась и возможность красиво умереть... А теперь только и осталась постельная жизнь...

Травин так именно и называл свою жизнь – *постельной*. Посмеивался над Загадой, Весновским и кузиной Соней и говорил:

– Товарищи!.. Товарищи!.. Вы хотя и на ногах, и веселы, и жизнерадостны, к чему-то ещё стремитесь, чего-то ждёте... А как вдумаешься в вашу жизнь, так и она похожа на мою, постельную... А?.. Ха-ха-ха!..

– Партийной жизни у нас не стало, это правда, – говорил Загада. – Может быть, ты и имеешь право смеяться над нами...

– И над собою, – перебив, добавил Весновский.

– Но называть нашу жизнь постельной, по меньшей мере, несправедливо, – продолжал Загада.

Соня молчала и большими изумлёнными глазами смотрела на кузена.

А он продолжал смеяться, и в его хохоте слышались какие-то грубые, почти циничный нотки.

Товарищи и кузина Соня спешили распрощаться и уходили. А он лениво протягивал им холодную руку и улыбался. Притворялась за ними дверь, и он шептал:

– Марионетки!.. Куклы развала!.. Ходячие трупы разброда!..

Травину казалось, что все они не догадываются сделать того, чем бы им следовало ознаменовать свою жизнь. Он считал их «ни живыми, ни мёртвыми» и всё собирался посоветовать им, чтобы все они покончили жизнь самоубийством.

Однажды он даже заговорил об этом с Загадой.

– Скажи, Загада, а у тебя нашлась бы сила воли покончить с собою?.. Теперь самоубийства так модны...

– Станный вопрос, – усмехнулся встрепёнувшийся и точно ужаленный Загада. – Я никогда об этом не думал... – добавил он и потупил глаза.

– Чудак ты, – продолжал Травин. – Ведь, в наше время жизнь такая дешёвая штука. И так много непреодолимых обстоятельств, которые толкают человека на этот шаг... Ужели ты никогда не задумывался над этим?..

– Ей-Богу, друг мой, не думал...

– Врёшь... В-рё-ёшь, – протянул Травин и пристально уставился в глаза товарища.

Тот опустил лицо и нервно передёрнул руками. Сидел точно холодом объятый. Хотел встать и уйти и не смел...

– Стало быть, ты не приемлешь мира, не отвечаешь на его запросы, – продолжал Травин.

– При чём тут мир?..

– А при том, что, если ты хочешь слиться с ним в вечном процессе, то должен быть способным как струна отзываться колебанием на каждое дуновение жизни... Людей вешают ежедневно, ежедневно расстреливают... Разве же у тебя нет потребности отозваться своим поведением на весь этот ужас?..

– Меня всё это возмущает, что же об этом говорить, – хмуро отвечал Загада. – Но, друг мой, при чём же тут самоубийство?..

Травин невзначай коснулся как раз той ахиллесовой пяты в настроениях Загады, которую тот так тщательно скрывал даже и от самого себя.

Травин не знал этого и ответил на последний вопрос товарища прежним тоном:

– Каждый самоубийца говорит миру своим поведением: «Вот, смотри ты, культурное исчадие, на дела свои!.. Ты обесценил мою жизнь, и я подчёркиваю это своим решением... Ты вёл меня к совершенству, к свободе, а ткнул в вонючую яму!..»

– А ты сумел бы покончить с собою? – спросил Загада помолчав.

Травин рассмеялся диким, странным хохотом и отодвинул небольшой ящик у столика перед кроватью.

– На, читай, – сказал он, подавая Загаде лист почтовой бумаги.

Загада прочёл:

«В смерти моей вините себя, люди... Вы сами обесценили мою жизнь... Вы вели меня к совершенству, а толкнули в яму недоделанным... И вот я прерываю поток собственной недоделанной жизни. Студент Травин».

С побледневшим лицом Загада опустил бумагу в трясущихся руках и боялся взглянуть в глаза товарища. Так неожиданно всё это вышло.

– Что, брат, смущён?.. А вот здесь лежит и браунинг...

И он достал из стола пистолет, показал его Загаде и быстро спрятал.

– Ты, может быть, подумаешь, что я в последнюю минуту струсил?.. А?.. – спросил его Травин и, не дождавшись ответа, продолжал. – Нет, не струсил!.. А эта моя решимость как раз совпала с началом, т. е. вернее с моментом открытия моей болезни... Процесс постепенного самоубийства тоже, брат, штука!.. Я дьявольски ясно вижу теперь всю жизнь, анализирую её и ухожу из этого подлого мира сознательным критиком... Тебе не понять этого величественного образа. Я осмысливаю каждую минуту жизни и знаю, что скоро мой конец, и не боюсь этого конца... и не лечусь... На такую смерть надо больше силы воли, нежели на одно мгновение – приложил к виску пистолет, и бац!..

Он закашлялся, сплюнул тягучую слюну в плевальницу и добавил:

– На этот фарс жизни находится много охотников, а ты вот попробуй покончить с собою так как я... Медленное самоубийство – красивый акт! Жаль только, что люди не сумеют его оценить...

Он снова впал в туманный поток своих странных философствований, бередя в душе Загады острую режущую боль.

И Загада спешно распрощался и ушёл.

III

Рядом с Травиным, в небольшой комнате в одно окно, жил Николай Николаевич Верстов, человек больной, нервный, неопределённых лет. Он плохо спал по ночам, покашливая и ворочаясь в постели. Иногда он стонал и тяжело вздыхал, а когда засыпал недолгим тревожным сном, – говорил во сне и часто вскрикивал, пугая Травина своим бредом.

С Верстовым Травин познакомился через Соню. Она привела к кузену нервного, истощавшего, молчаливого человека и, знакомя их, сказала:

– Коля, та комната, рядом с твоею, свободна?.. Николаю Николаевичу также нужна комната... Пойдём, узнаем, – не сдаст ли её хозяйка?..

Они вышли в коридор, плотно притворив в комнату Травина дверь. Схватив руку кузена, Соня быстро забормотала:

– Коля, Верстов без всяких средств!.. Он только что выпущен по манифесту из крепости... Надо его устроить. Где-то в провинции есть у него тётка, и никого больше... Ему хочется попытаться устроиться здесь... Хотя бы на первое время...

– Великолепно!.. Пойдём, наймём ему комнату!..

Они переговорили с хозяйкой, а вечером того же дня Николай Николаич поселился рядом с Травиным.

Первое время Травин был очень озабочен судьбою Верстова. Надо было устроить так, чтобы помощь не походила на благотворительность, так как Верстов только на этих условиях и решился поселиться в комнате, нанятой Травиным, и взял у студента необходимые на первых порах деньги. Верстову нашли перевод какой-то медицинской книги с немецкого.

Это было ещё в те дни, когда Травин был здоров, энергичен и «окрылял действительность», как говорила молодёжь его круга, и когда Травину, да и многим его друзьям и знакомым, казалось, что все они в преддверии новой жизни и новой работы.

Жилось тогда вольно, с неиссякаемым источником надежд и мечтаний. Многие надежды, впрочем, и тогда омрачались, но это омрачение казалось временным наваждением извне. В самом-то Травине в то время был источник, взбадривавший жизнь, и он мог подойти к Верстову как бодрый и сильный товарищ.

А Верстов привалился к душе ликующего Травина тяжёлым камнем.

– В сущности тяжело жить вместе с ним, – сознался он в разговоре с Соней и товарищами.

– Коля, но подожди!.. – успокаивала Травина Соня. – Дай же ему возможность оправиться, ведь, десять лет тюрьмы...

– Может быть, ему лучше бы в провинцию уехать, – советовал Загада, – разве отдохнёшь здесь, в этой толчее?..

– Не хочет!.. Да и что он там будет делать? Городишко глухой, а родственники совсем не интеллигенты...

– Николай Николаевич говорит, что там он или сопьётся, или покончит с собою...

– Но, ведь, и здесь он как-то не может устроиться, – продолжал Травин. – Предлагал ему ехать в Полтаву в имение дяди, – не хочет.

О себе Николай Николаевич избегал говорить, и только Травину удалось заглянуть в тайники его интимных переживаний. Но и с Травиным он избегал говорить о жизни в тюрьме.

И только в начале знакомства Верстов с каким-то особенным оживлением рассказал о первых впечатлениях на свободе...

Пощипывая жидкую бородку и глядя куда-то в пол, он говорил тихим, низким голосом:

– Вывели меня из вагона, посадили на извозчика, и смотрю я, – едет куда-то извозчик и везёт меня... Еду, смотрю на улицы, на дома, на людей, стараюсь всмотреться в лица. И точно в первый раз я вижу всё это... Особенно люди заинтересовали меня, вернее, их лица... Там, в тюрьме-то, не было «лиц»... Понимаете, какое ощущение?.. Там были какие-то маски... Доехали мы до Литейного моста, а извозчик и спрашивает: «Куда, барин, ехать-то?» – «В самом деле, – думаю, – куда же ехать?..» Думал-думал и говорю: «На Невский»... Вспомнил, что есть Невский... Понимаете!?. Остановился на Пушкинской в какой-то мебелировке и думаю: «Ну, а что же дальше?..» Эта самая мебелировка-то показалась мне колыбелью моей новой жизни, а сам я как детёныш-несмышлёныш без няньки... Деньги у меня были... Какая-то дама разыскала меня на вокзале и дала деньги, а от кого, – не знаю... Первую ночь не мог заснуть: большое окно в номере беспокоило. Выходило оно на улицу, а на улице фонари горели, и слышу я, гудят колёса экипажей, а за стенами и над головою и внизу – голоса какие-то... Спустил шторы, заложил пальцами уши да так и заснул... Утром встал рано и пошёл на Невский. И было приятно, что тебя прохватывает холодом и этакой сеткой дождя застилает глаза... Иду и рассматриваю витрины магазинов, и всё мне не хотелось дать повод подумать другим, что я больше десяти лет не бывал на Невском... А потом... Ну, потом начали меня таскать по журфиксам да показывать как нечто диковинное... Тут вот я с вашей кузиной-то и познакомился...

И это было всё, что рассказал Верстов в начале знакомства. Когда заходил разговор о жизни в крепости или о том, что ему нужно вот то-то и то-то прочесть, чтобы заполнить пробелы, он краснел от негодования и как-то раз резко выкрикнул:

– Что же, вы хотите, чтобы я готовился к экзамену в новую жизнь?..

И его оставили в покое.

Но его не хотела оставить в покое новая жизнь. Каким-то многооким, зорким чудовищем, с постоянно движущимися цепкими щупальцами, стояла она перед ним. Огни тысячи глаз опаляли его душу, цепкие щупальца охватывали его, тянули, поднимали и бросали в мутный поток человеческих отношений. А он, ослабевший, точно запуганный или затравленный, не решался сдвинуться с места.

Как-то раз он спросил Травина:

– Скажите, что же мне делать?.. Ведь не могу же я жить и только переводить с немецкого или делать вырезки из газет...

– Но, ведь, редактор просил вас писать и статьи, – возражал Травин.

– Ей-Богу, не знаю, о чём писать и как... Все эти вырезки из газет с пёстрыми фактами жизни возбуждают меня, и часто я думаю: «Вот эту темку обработать бы»... И не знаю, с чего начать, что сказать... Никогда я не занимался публицистикой...

Но и такая газетная работа со скачками, с робостью, всё же увлекала Николая Николаевича. Газету закрыли, и Верстову опять пришлось занимать деньги у Травина.

Два месяца прослужил он у нотариуса и опять бросил работу. На упрёки Травина отвечал:

– Не могу я получать жалованье и думать, что даром беру деньги... Не приспособлен я к занятиям у нотариуса...

Определили его в Страховое общество и посадили на статистику. И эта работа не увлекла его. Наконец, Верстова определили агентом по сбору объявлений для газет и командировали в провинцию. Путешествие и новые впечатления как будто оздоровили его душу. Страхнулся с души налёт какой-то рассеянности и неопределённого гнёта. Но вскрылась старая рана души, и он стал бояться пространства и избегал людей... Стал прятаться от людей и новых впечатлений и даже от самой жизни готовь был запрятаться.

IV

Два с половиною года прожил так Верстов в Петрограде, изнемогая в борьбе за существование и борясь с собою. Боролся, томился в борьбе и ещё больше страдал. А жизнь, новая и разнообразная, мчалась, а он отставал, падал, разочаровывался и изнывал.

Начал мечтать о жизни в провинции, вспоминал тётушку Анну Марковну и задавался вопросом: жива ли она?.. Несколько раз принимался за письмо к тётушке и оставлял своё намерение.

«Лучше поеду. В письме всего не напишешь. Да я и не знаю, как она меня встретит? Может быть, испугается... Да и жива ли она?.. А писать к покойнику – это оригинально!.. Живой мертвец пишет настоящему мертвецу, может быть, даже и истлевшему»...

Думал так, мечтал о жизни в провинции, собирался ехать и опять откладывал поездку.

Когда Травин заболел и слёг, ему стало казаться, что вот наконец-то он нашёл себе настоящее дело. Он целыми часами просиживал у постели больного, ухаживая за ним. Наконец, перебрался в прежнюю комнату, рядом с комнатой Травина.

С Травиным он сошёлся больше, чем с другими, а когда студент заболел, эта привязанность превратилась в любовь к младшему брату. Ему даже нравилась перемена в жизни его «благодетеля»: он на ногах, а Травин слёг.

– У нас с вами, Николай Иванович, и имена одинаковы и души сродны, – говорил он Травину. – У меня уже опустошённая душа, а ваша... ещё только опустошается...

И рассмеялся скрипучим и каким-то странно весёлым смехом.

Травину понравилось определение «опустошённые души». Есть в этих словах какой-то глубокий смысл, точно название эпилога в какой-то трагедии неудавшейся жизни.

Улыбаясь скорбной улыбкой, Травин говорил:

– Имена у нас с вами сходные, Николай Николаевич, а отчества разные... Это – символ!.. Вы боитесь жизни, а я её презираю... Ваша опустошённая душа жаждет заполнения жизнью, а я говорю жизни: «Я и тебя опустошу презрением и отрицанием!..» А кончится это знаете чем?.. Вы будете вечно одиноки, ибо никогда не заполните своей души жизнью и не примите жизни, а я буду вечен, ибо приемлю жизнь ради её отрицания... То есть, понимаете, что сделаю: не примирю законов природы с моими идеалами и создам вечную катастрофу... Понимаете – вечную катастрофу!.. Ха-ха-ха!.. Здорово!..

– Здорово! – соглашался Николай Николаевич.

И они оба смеялись, курили, заполняя комнату дымом, и опять принимались говорить и непременно на тему о жизни и смерти.

– В сущности, чёрт знает, до чего можно договориться, если вот так взять нарочно да и разводить философию, – сказал как-то раз Травин.

– Что же, это хорошо, – соглашался Николай Николаевич. – Я разучился говорить, а говорить надо...

Они продолжали странный разговор на философские темы и часто не отдавали себе отчёта – шутят ли или говорят серьёзно.

Со стороны было даже как-то жутко слушать их рассуждения. Недаром Соня часто говорила Загаде:

– Я теперь жалею, что они сблизились и живут вместе... Они друг друга толкают в пропасть...

– И оба полетят, – соглашался Загада, который теперь с тревогой думал о своём друге. Как-то раз Травин совершенно серьёзно оказал:

– Знаете что, Николай Николаевич... Если бы вы, положим, проснулись завтра и вдруг почувствовали бы, что вы верите в Бога... Я думаю, вы тогда заполнили бы свою душу.

– Могло бы и это случиться!..

– А какого Бога вы хотели бы: вселюбящего или всекарающего?

– Мне кажется, я уверовал бы в Бога вселюбящего, – отвечал Верстов.

– А я примирился бы только с всекарающим, – говорил Травин.

– А что же тогда человеку останется делать? – спросил Николай Николаевич, и на лбу его выступила вертикальная складка.

– Человеку, опрашиваете... Да только покориться!.. А вот мне не хотелось бы покоряться... Помните, как говорит Андреевский Савва: «Уничтожить всё: старые дома, старые города, старую литературу»... Понимаете, а потом всю землю оголить и посадить на неё человека...

– Ну, а после оголения земли и человека что будет? – серьёзным тоном спросил Николай Николаевич.

– Гм!.. Это, действительно, вопрос ядовитый!.. Я думаю, у человека начнут расти волосы... А?.. Ха-ха-ха!.. И из волос, а не из ребра, как сделал Бог, голый человек сам себе создаст подругу жизни. И сам же себе скажет: «Иди, плодись и наполняй землю»... А?.. Ха-ха-ха!.. Согласны, Николай Николаевич?..

– Ну, а что будет после того, как земля наполнится?

– Гм!.. Что будет?.. Да ничего, будет опять человечество...

– И государства будут? – после паузы спросил Верстов.

– Будут и государства.

– Будут приноситься жертвы тем государствам?

– Всенепременно...

– Ну, тогда и ваш человек ни к чёрту не будет годен!..

– Ха-ха-ха!.. Почему же? – громко смеясь, спросил Травин.

И они опять оба хохотали, не отдавая себе точного отчёта: шутят они только, говоря так, или же серьёзно обсуждают что-то важное.

Говорили так и как будто прятали от себя и друг друга свои сокровенные думы. И точно боялись, – не подслушал бы кто-нибудь их дум, тех беспокойных дум, с которыми они оба долго лежали в постелях в сумраке бессонных ночей.

Говоря и смеясь над жизнью и смертью, старались быть смелыми до цинизма.

А смерть подходила к ним незримоими стопами и несла с собою самое страшное для них и неизбежное – забвение...

Часто Травин бранил интеллигенцию, а Николай Николаевич останавливал его:

– Подождите, не браните!.. Может быть, она что-нибудь ещё и сделает.

– Ничего не ждите!.. Интеллигенция будет вечно служилым сословием... Служила народу и вместе с ним попала в тупик...

– Позвольте, позвольте! – перебивал его Верстов. – А прежние заслуги интеллигенции? А мы ради чего же томились в тюрьмах? Ужели ради того, чтобы услышать от вас осуждение?

– Может быть, и для этого, – соглашался Травин.

– Ага, вот вы как думаете!

И на лице Верстова вспыхивал румянец негодования, а через лоб ложилась вертикальная складка.

Помолчав, он в унынии склонил голову и сказал:

– От себя, вот, я так уже ничего не жду!.. Законченный я человек!..

V

Курсистка Соня приходилась Травину двоюродной сестрой. Они с детства знали друг друга: вместе росли, одновременно начали учиться в Полтаве да и в Петербурге были дружны.

Соня склоняла кузена уехать в Полтаву. Он отрицательно мотал головой и спрашивал:

– Для чего в Полтаву?

– Коля, но, ведь, Полтава наша родина. Там тётя Саша. Тебе так хорошо будет с нею.

Он усмехался больной короткой улыбкой и спрашивал:

– А что такое родина, Соня?

И, не дождавшись ответа, переспрашивал:

– Соня, что такое родина?.. Ведь это же какой-то пресс, которым выжимают из человека соки...

Она пожимала плечами и, сдвинув брови, молчала.

Лицо Травина вдруг преображалось, и он говорил теперь уже нежным тоном, тем тоном, который так нравился девушке:

– Никуда я, голубчик, не поеду!.. Потому – не всё ли равно где умирать...

Он прокашливался, хватался рукою за грудь, пил вкусный кисловатый сироп и говорил:

– Ведь это же предрассудок – считать родиной тот город, где родишься! В сущности, ведь, это же случайность. Потому всё у нас и не клеится, что мы привыкли к «нашему» городу, к «нашему» дому, «нашей» семье и чёрт знает к чему, на чём неизбежный ярлык: «наш», «наша»... Мы слились, Соня, с вещами, а это уже банкрот личности!.. Теперь всё это называется мещанством, а раньше шло без имени... Проклятые деды и отцы, делая нас вещами, как они не понимали, что всё это пошло и некрасиво!..

– Господи, как скучно!.. Да, ведь, знаю же я всё это, – с гримасой отчаяния в лице перебивала Соня.

– Плохо знаешь, мой друг!..

Он закурил папиросу. А Соня сказала:

– Коля, не кури же, ради Бога! Ведь тебе же вредно!

Он только усмехался, пуская кольца табачного дыма. Курил, притворялся равнодушным к заботам о своём здоровье и думал о Полтаве и о проклятых отцах и дедах.

– Я всю жизнь слышал окрики: «Коля, не пачкай панталончики». «Коля, не кури». «Коля, не будь буржуем». А потом мне те же люди сказали: «Коля, не живи»... Ха-ха-ха!.. «Коля, не пачкай панталончики» и «Коля, не живи»... Между этими двумя формулами, в сущности, и прошла вся жизнь...

Соня ушла поздно вечером и тепло попрощалась с кузеном.

А он долго смотрел ей вслед и думал о смысле своей последней фразы. Находил её очень удачной и сердился на Соню: она, по-видимому, не поняла глубины его философствования.

«Что же, ведь она как все!.. Ей тоже говорили: „Соня, не пачкай платья“. А потом скажут: „Соня, не живи“. И Соня покончит с собою или зачахнет»...

Ему снова припомнилась белая подстреленная чайка на морской отмели, и стало грустно.

Нить философствований оборвалась, и он думал о Полтаве. И находил эти думы естественными. В этом городе началась его жизнь. Он производил переоценку себе, а каждая переоценка жизни полна только тогда, когда её всю осмыслишь.

А заключительная грань жизни приближалась к нему и, странно, не пугала его своим бесшумным приближением.

VI

На ночь Травин ставил лампу на столик у постели и углублялся в чтение. Теперь он мог читать только беллетристику и целые ночи, пока не утомлялся, не закрывал книги и не тушил лампы.

Почти все ночи его были бессонные, томительные... Засыпал он после трёх-четырёх часов.

Оставаясь в одиночестве, он часто задавался одним и тем же вопросом:

«Я умру, и я знаю, – в последнюю минуту последним моим желанием будет желание разгадать вопрос: „Для чего я жил эти двадцать шесть лет?“ Ну, для чего?.. Ужели же только для того, чтобы убедиться в собственном банкротстве и умереть с опустошённой душой?»

Он часто говорил о своей опустошённой душе, ещё чаще думал: «Кто-то сказал: „рождение – случайность, а смерть – законная необходимость“. Мудрости в этом изречении много, а утешения – ни на грош! Если бы было наоборот: смерть – случайность, а рождение – необходимость. Человек как раз и был бы та сущность, какой его стараются сделать мудрецы. Если бы моё рождение была необходимость, тогда и мою жизнь оберегали бы не только люди, но и все политические и социальные законы. И законы моей родины были бы такими, чтобы уберечь мою жизнь. А разве они оценили мою жизнь? Разве они охранили мою личность? Их законы – мои тиски, моя могила!.. И вот я умираю, умираю в двадцать шесть лет... А этого не должно бы случиться, если бы моё рождение была необходимость»...

Засыпал тяжёлым сном в лихорадке, часто просыпался от изнуряющего кашля, выкуривал папиросу, а то и две и опять засыпал.

Иногда бывало и так: проснётся, выкурит папиросу и окончательно разгонит сон. Лежит с открытыми глазами в темноте и как будто думает одну думу вместе с ночью. Ночь – чёрная, и дума – чёрная. Зажжёт свечи, и мрак рассеется, а дума чёрная всё не отходит. И сердце бьётся тревожно, и в голове какой-то хаос...

Слышит, – и Николай Николаевич не спит. И Верстов ворочается на постели, чиркает спичками и закуривает папиросу. Николай Николаевич как-то особенно, странно курит. Закурит папиросу, затянется раза два и забудет о ней и задумается. Пройдёт несколько минут, папироса потухнет, и он опять примется чиркать спичками.

Как-то раз, в глухую бессонную ночь Травин крикнул соседу через плотно притворённую дверь:

– Николай Николаевич, вы не спите?

– Нет, а вы?.. – послышался ответ.

– Я тоже...

И как-то странно, тревожно прозвучали их голоса в тишине ночи.

– Я сегодня познакомился с одним художником, был у него в мастерской и окончательно развинтил себя... – начал Верстов.

– Что же, страшную картину увидели?

– Нет, не то!.. Я когда-то писал масляными красками... Давно это было, – гимназистом ещё был... Даже о карьере художника мечтал, а потом ударился в народничество, и всё моё художество пошло к чёрту!.. Вы знаете, ведь мы тогда отрицали искусство. А теперь, вот, пришёл в мастерскую и отравился запахом красок... Лежу и обдумываю грандиознейший сюжет!..

– Да ну?.. – усмехнулся Травин.

– Право!.. Не знаю только, что выйдет!..

Они помолчали минут пять и больше.

– Живопись меня сильно захватила, – первым нарушил молчание Верстов.

Молчание.

– Вы спите, Николай Иванович? – погромче окрикнул Верстов.

Молчание.

Травин уже спал, а, может быть, притворился спящим. Скоро заснул и Верстов. Разработанный сюжет грандиозной картины увлёк его в мир несбыточный...

Под руководством своего нового знакомого, художника Зимина, Николай Николаевич начал писать картину, но после двух-трёх опытов убедился, что ничего из этого не выйдет. Да и Зимин, видя безуспешность ученика, не поощрял Верстова к дальнейшим работам.

– Что же, ваша картина скоро будет готова? – спросишь как-то раз Травин.

– Пока отложил работу... Должно быть, ещё недостаточно ярко выносился сюжет...

Пришла фантазия описать свою жизнь в тюрьме. Хотел написать целую повесть, но и из этого ничего не вышло. Не знал, как начать. Впечатлений много, и все они такие страшные и яркие, а как приступить к ним, как овладеть ими?..

VII

Среди студенчества Травин считался «богатым» товарищем. И странно, это преимущество не выделяло его из среды других. Себе он отказывал во многих удовольствиях жизни, другим – никогда ни в чём не отказывал и даже слыл одно время за чудака-оригинала, и о нём говорили: «Он богат для других!..»

С необычайной осторожностью он подходил к судьбе нуждающегося товарища, и никто не смел бы упрекнуть его в афишированной благотворительности. Его все любили, – и студенты-«академисты», для которых университет – только храм науки, и студенты партийные. Одно время он стоял близко к одной из левых организаций, был председателем финансовой комиссии, и все знали, что Травин на партийные надобности тратит собственные деньги. К нему же смело шли из партии и в экстренных случаях.

Он недурно произносил речи на тему о партийной тактике, раза два читал даже рефераты и всё собирался примкнуть к журналистике. Одно время литературная карьера была его мечтой, но первые же неудачи отряхнули настроение, впрочем не особенно разочаровав автора-неудачника.

Заболев и убедившись, что все счёты с жизнью покончены, он перевёл все деньги в банк на имя Сони и тем глубоко оскорбил девушку.

– Поехать в Крым или куда-нибудь на юг тебя не уговоришь, а на какую-то пошлую мещанскую предусмотрительность ты оказался способным, – горячилась Соня.

– Позволь, но в чём дело? Чего ты кипятишься?..

– А в том и дело: я живу уроками и переводами, и мне не надо твоих денег...

– Ха-ха!.. Но куда ты меня ни вези, всё равно я умру скоро!.. Для чего же это путешествие? Уж если хочешь, то вот в таких-то предусмотрительных путешествиях больше пошлости. Люди гноят себя и друг друга, а потом ищут под лучами солнца укромный уголок, где можно бы было излечить этот гной-то... Уж лучше бы все позаботились о своём оздоровлении заблаговременно...

Часто он говорил о людях именно таким тоном, выключая себя из среды остальных. Как будто он, действительно, познал всю жизнь, а остальное человечество копошится в гнилой яме и называет своё «пребывание» на земле жизнью...

Однажды он так и сказал Соне и Загаде:

– Ведь вы, господа, «преживаете», а не живёте...

– А ты? – вспыхив, спросил Загада.

– Я умираю... И умираю сознательно, с критикой жизни и с критикой смерти. И то, и другое для меня не страшно...

– Позволь! – горя глазами перебивал его Загада. – Давно ли ты восхвалял самоубийства?.. Те, кто не боится жизни, не будут этого делать!..

В сущности, Загада называл проповедь Травина о самоубийстве простой рисовкой. Для кого самоубийство только один и последний исход, те молчат об этом и носят в себе последнюю тайну как нечто дорогое.

Загада носил в себе эту тайну, и никто об этом не знал...

Последнее замечание товарища заставило Травина задуматься. Он почувствовал, что пойман на слове и даже изменился с лица: впавшие щёки его окрасились румянцем.

– А ведь это правда, Загада! Страх жизни загнал меня в этот тупик!.. Как странно устроен человек: установит какую-нибудь точку зрения и точно пологом завесит себя от остальной жизни и не замечает своих ошибок...

Это открытие сильно поколебало настроение Травина. Одно время он перестал любоваться собою и считал себя таким же как и все.

Но его поджидало новое счастье, и он снова приободрился и впал в прежнее самолюбование.

Как-то утром, проснувшись раньше обыкновенного, он почувствовал тупую боль в груди, в горле першило. Закашлявшись, он сплюнул слюну и увидел кровь.

Кровь из горла! Этого он ждал давно! Этого он хотел!

– Ну, теперь баста! Конец! – прошептал он, лёжа в постели.

И ему хотелось так громко крикнуть об этом, чтобы все услышали.

После обеда кровь шла горлом уже по-настоящему. Когда пришла Соня, он торжественно заявил:

– Соня, у меня пошла кровь горлом...

Соня побледнела, а он спокойно смотрел ей в глаза и негромко говорил:

– Теперь *finita la commedia*!³ Всё кончено! Я рад, всё это определилось... В прошлый раз Загада поймал меня на слове. Пусть-ка теперь попробует смутить меня... Смерти я не боюсь! Вот её символ... Вот, смотри!..

Он развернул перед кузиной скомканный платок с пятнами тёмно-алой крови и показывал этот платок как знамя готовности умереть.

– В сущности, я не боялся смерти и тогда, когда готов был покончить самоубийством... Давно обесценили мою жизнь, а такую её любить нельзя, да едва ли и можно её бояться...

– Коля, ужели же ты думал о самоубийстве? – спросила Соня.

Вместо ответа Травин показал девушке тот же клочок бумаги, который видел и Загада.

³ Комедия окончена.

Соня прочла записку Травина и ничего не сказала. И только после какой-то тревожной думы, тихим и робким голосом добавила:

– Я никак не могу понять тебя!..

– Моя психология сложна и непонятна, – с важностью заявлял он. – Да это и хорошо, что ты меня не понимаешь... Меня поймут люди с опустошённой душой...

И, помолчав, добавил:

– А мог бы и я заполнять эту опустошённую душу. Ведь у меня есть деньги и большие деньги! Страх перед жизнью я мог бы развеять, как делают другие... Я мог бы и позолотить жизнь, если другие её обесценили... Я мог бы забыться в кутежах! Я мог бы на быстром огне удовольствий опалить остатки жизни... А я не хочу этого делать, потому что пошло это!.. Пошло!.. Это – самообман!..

Соня думала о деньгах кузена, и её смущало то обстоятельство, что он перевёл их на её имя. Ведь и у неё теперь в руках то же средство, которое так же может сделать её жизнь ложью. Она долго думала о том, как распорядиться деньгами. И решила оставить себе немного, чтобы иметь возможность окончить курсы и не бегать по урокам, а остальные деньги решила отдать партии... Она не сказала об этом Травину, потому что не знала, как он отнесётся к её решению. Она боялась, что он будет осуждать её планы и пожалуй ещё посмеётся над ней.

За последнее время он так часто и так несправедливо нападает на партию, бранит «дни свобод» и с цинизмом отзывается о некоторых общественных деятелях и видных членах партии...

VIII

Вечером того же дня к Травину зашёл Загада, всегда задумчивый, всегда тихий и точно скучающий.

Поздоровались холодно и молча. Загада сел на своё обычное место у печки и принялся щипать бородку.

– Посмотри, Загада, показалась кровь! – выкрикнул Травин, размахивая перед товарищем окровавленным платком.

Смущённый Загада молчал.

– Ты в прошлый раз ушёл торжествующим!.. Загнал меня в тупик... А вот посмотри теперь, как я отношусь к смерти... Я очень рад, что эта кровь показалась... Теперь, брат, шабаш, всё кончено!..

Сидевшая у тёмного окна задумчивая и молчаливая Соня сказала:

– Будет, Коля, об этом... Ведь это же невыносимо!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.